

Оживущих пишут как об эстетическом феномене, а про умерших пускаются вспоминать во все тяжкие. Это пока непривычно, рука ещё, слава Богу, не расписалась.

Моё знакомство с Женей Харитоновым было неблизким, скорее эпизодическим, но длительным. Длилось оно лет семь. В первый раз увидел в гостях у художника. Фамилию забыл (вспомнил: Андросов). Женя сидел с краю, на вторых ролях, озирался. Почему-то коротко стриженный, почти наголо. Странный взгляд: напряжённый, пристальный. И в движениях что-то резкое, дёрганое. Спросил, откуда я знаю стихи Денисенко. От Лёни Иоффе. «А кто этот Лёня — тоже мальчик?» Всё было немного странно: и что не знает, кто такой Иоффе (в той компании все знали), и слово «мальчик», совершенно неходовое, неуместное даже по отношению ко мне, к Лёне тем более.

Эта напряжённость-неопределённость так и длилась почти до самого конца. Я его как-то дичился. Общение было литературное.

Кстати, до появления «Духовки» мы и не знали, что он пишет прозу. Да ещё такую — как сказать? — простую. Совсем не «прозу поэта». Прозу о любви. И о какой любви! Внятность, открытость письма были так оглушительны, что не возникало никаких сомнений в личном характере переживаний. Это был, надо сказать, сильный шок, который ещё больше усложнил отношения. Но Женя, конечно, учитывал все сложности, шёл на них сознательно и с той смелостью, которая еще больше проявляла серьёзность и значительность его авторства. Она, эта смелость, сразу стала восприниматься литературно, опознавалась как именно литературная характеристика. Не заметить новизну и артистичность его вещей было невозможно. Профессиональное занятие автора пантомимой только подтверждало впечатление, ведь

и в прозе его за словами маячил какой-то выразительный, но безмолвный жест.

Я был на премьере его спектакля «Очарованный остров» в Театре мимики и жеста, но впечатление осталось довольно смутное. Больше всего понравилась программка, составленная Женей, необычная и очаровательная. А запомнился ярче всего сам Женя, шатающийся по фойе с молодым приятелем. Такого Женю я видел впервые: почти высокомерного, приодетого, даже фатоватого, и при этом как будто чёрный окраинный ветер покачивал обе высокие фигуры. Как будто путь они держат из одного заведения сомнительной репутации в другой совсем уже мрачный притон. Что-то такое качало его тогда и тянуло.

Но не затянуло. Через несколько лет я видел показательную репетицию его актёрского кружка, и там уже было всё другое. Другой интерьер, другие лица, даже другие движения. Мальчики и девочки замечательно вольготно барахтались в какой-то огромной общей тряпке, взаимно пеленались и изобретательно дурачились. Женя (на этот раз милый и добродушный) прямого участия не принимал, только присутствовал со стороны. Но во втором отделении, когда все стали читать, тоже прочёл что-то своё.

И ещё о жестах. Помню, мы стоим у ворот двора Дома учёных, ждём открытия авангардистской выставки. Открытие затягивается, потом отменяется вовсе. Случай довольно обычный, и Женя спокойно, даже с облегчением говорит: «Ну, что будем делать, друзья?» — и поднимает руки, по-дружески приобнимая нас. Нет — готовясь приобнять. Руки только поднимаются и — не коснувшись плеч — соскальзывают в исходное положение. Он вовремя спохватился. Ему это нельзя, такие жесты. И что-то мелькнуло в глазах, что потом долго вспоминалось. Описать очень трудно, как трудно представить себе одиночество совсем другого, куда более страшного рода, чем твоё собственное.

Претендентов на другое плечо в той сцене два: Женя Сабуров и Дима Пригов. Теперешние Евгений Фёдорович и Дмитрий Александрович.

Потом мы заочно поссорились. Я был чем-то огорошен и обижен в его писаниях, может быть и не зря. Но незадолго до его смерти мы помирились, чему я несказанно рад. (Я сказал ему о своих претензиях, и он неожиданно со многим согласился). Один такой, другой другой. Женя был другой, совсем «дру-

гой». Самородок, странный и особенный человек. Удивительно обаятельный.

Есть люди, которые не позволяют себе быть обычными. При их появлении как будто мгновенно обостряются все чувства. Наверное, это называется артистизмом, и в таком способе существования есть свои неочевидные потери. Но таких людей мало, и к ним почти невольно притягивается взгляд.

В неприязнательности Жениного поведения был какой-то магнетизм. В этом не было ничего от застенчивости или робости. (Зашёл однажды в гости и, обычно немногословный, весь вечер, что называется, «занимал рассказами». Все слушали открыв рот). Скорее обдуманная сдержанность стороннего человека.

Его проза очень похожа на него. Артистически угаданная неловкость стиля, очень тонкая и уместная, как будто подсказана художественной безупречностью человеческих движений. Интонации очень живые и речевые, при том что это внутренняя речь, художественная речь. Сейчас он кажется новатором. Почему? Не потому вовсе, что первым стал писать о «голубых». (И почему вообще первенство такого рода стало считаться художественной новацией?) Новая литература — это новый герой, интригующий незнакомец. Это человек, которого раньше не было, или он не решался себя обнаружить. Не решался писать. Но вот решился наконец. И это не типаж, описанный извне, а способ письма такого героя. То есть новый стиль. В таком изложении чуть иначе звучит знаменитая формула «стиль это человек».

Давать характеристики этого стиля-человека здесь неуместно, тем более что придётся говорить и о просчётах, когда автор явно насилует свою нежную природу ради «последней правды» и тактической новизны обдуманного литературного делания. Нужно только сказать, что позиция «голового человека на голой земле» есть позиция крайняя. Таков же и стиль, идущий от этой позиции. Но проза Харитонова как будто даже уходит за край. Как всё новое она производит впечатление другого способа фиксации. Если чернила, то, пожалуй, симпатические. Если лента, то скорее лента Мёбиуса. Проза, отлетающая как вздох, как немая жалоба. И это не литературный изыск, а новый способ описания, новая форма, может быть близкая той, которую предсказывал Леонид Липавский в «разговорах» со своими друзьями-обэриутами: «Я думаю, тут дело в том, что цветок для познания бесконечен,

а человек нет. Ведь человека дают в искусстве как индивидуальную историю, как личность. Но может быть такой взгляд, когда и человеческие жизни предстанут писателю так же, как цветы художнику».

Именно эта цитата почему-то показалась мне уместной. Может быть, из-за удивительной фразы «Цветок продуло» в одной из Жениных вещей. Мне кажется, что я помню этот цветок. Во всяком случае, в окно мы высывались, когда были у него в последний раз. Страшная стояла жара. А вечер получился удивительно хороший, долгий, с какими-то увлекательными разговорами и с чтением стихов. И стихи всем нравились.

Мы вышли, он выскочил на площадку провожать. Обрадованный удачным вечером, растроганный, стал что-то говорить вслед. Но мы уже спускались, и он пошёл назад, махнув на прощанье с какой-то — мне уже тогда показалось — безнадёжностью.

Это было за пару недель до его смерти, больше мы не виделись.

*Первая публикация: в книге «Взгляд на свободного художника». — М.: Гендальф, 1997*